



АНТОН
ПОНИЗОВСКИЙ

ПРИНЦИПЫ И НЕКОГНИТО

АВТОР – ФИНАЛИСТ ПРЕМИИ “БОЛЬШАЯ КНИГА”
ЗА РОМАН “ОБРАЩЕНИЕ В СЛУХ”

Антон Понизовский
Принц инкогнито

«АСТ»

2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Понизовский А. В.

Принц инкогнито / А. В. Понизовский — «АСТ», 2017

ISBN 978-5-17-982856-3

«Обращение в слух», первый роман Антона Понизовского, сразу же вошёл в короткий список премии «Большая книга» (2013). Новый роман «Принц инкогнито» — одновременно и приключенческая новелла, и сугубо реалистичная бытовая драма, и горячая исповедь, и детектив. 1908 год, Сицилия, броненосец «Цесаревич», романтика и интрига. И сразу же: современная провинция, больница для умалишённых. Кто-то из пациентов устраивает поджог за поджогом; психиатр обязан найти пиромана. Но, как и положено в русском романе, за детективной фабулой — вопрос о «последней правде». Где она: в тусклом реальном мире — или в цветных, золотых мечтах? И кто здесь подлинный принц?.. Может быть, вы?

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-982856-3

© Понизовский А. В., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

Принц инкогнито	6
1	6
2	8
3	22
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Антон Владимирович Понизовский

Принц инкогнито

© Понизовский А. В.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Романтические приключения: 1908 год, русская эскадра у берегов Сицилии, Мессинское землетрясение, тайная коронация. И сразу: жизнь сумасшедшего дома в современной российской глубинке. Кто-то из пациентов устраивает поджог за поджогом...

«Пол гудит под ногами, как палуба корабля. Санитарская и особенно процедурная таят опасность, словно патронные погреба...»

«Под видимостью обычных вещей, буквально здесь, под щекой, под подушкой, – скрыта грозная тайна, которая проявляется лишь в огне.»

Новый роман Антона Понизовского – это сразу и детектив, и философская притча, и щемящая история безумия, и многослойная литературная игра. Десяток мотивов под одной обложкой – и ни единой фальшивой ноты.

Галина Юзефович («Meduza»)

Эту книгу обязательно надо прочитать, и нет сомнений, что вы узнаете себя и окружающих... но узнаете с неожиданной стороны.

Олег Фочкин («Известия»)

Мастерски чередуя стили и голоса, Антон Понизовский ведёт читателя по лабиринту человеческого сознания с его непредсказуемыми поворотами, тоннелями и неожиданными переходами.

Наталья Ломыкина («Forbes Russia»)

(От)чаянная, обжигающая, головокружительная вещь.

Павел Крючков («Новый мир»)

Автор – финалист премии «Большая книга» за роман «Обращение в слух»

Принц инкогнито

1

В полутьме перья кажутся сплошной массой. Жалкие мятые пёрышки. *Плю́мас*¹. Плебс. Тысячи одинаковых перьев внутри подушки.

Я щёлкаю зажигалкой. Наволочка темнеет, на ткани вспухает пятно, будто я капнул чернилами. По границе разрыва рыскают штрихи пламени, тире – тире – точки. Как азбука Морзе, как отдельные буквы, слова и огненно-красные строки, нитки вспыхивают и на глазах истлевают, штришки расползаются (изгибаются дугами, распадаются на отдельные скобки).

С красной строки загорается ткань. Беспорядочно разбегаются, распространяются язычки – поодиночке и стайками, табунками: сбиваясь, лопочут, плетут витиеватые вензеля.

Я вижу: огонь – это речь. Это сказка. Перебивая, подхватывая друг друга, с пятого на десятое, путаясь, обрываясь, огненные языки торопятся рассказать про меня и про Миньку.

Вот мы на верхней палубе «Цесаревича». Солнце скрыто за облаками. Но мы молодые, работаем без фуфаек, в одних рубашках: сицилианский декабрь – вроде нашего сентября.

Пока офицер далеко, Минька курит, облокотившись на леер. (Правда, сначала, наученный горьким опытом, взялся за леер, подёргал туда-сюда: закреплён ли?)

Матросики дрессированные, субординацию знают: все как один дряют палубу, в Минькину сторону не глядят. Прикоснись к палубе. Чувствуешь, какая гладкая? Досочки из благородного тика, деревянные шайбы сидят как влитые, и между досками – аккуратнейшие каучуковые прокладки. Хотя от угольной пыли ничто не спасает. Скачиваем и драим, драим и скачиваем с утра, а вахтенный офицер провёл пальцем: мойте-ка, братцы, почище. Тьфу!

– Дак что, братец? – передразнивает Минька, когда офицер исчезает из виду. – Ты обещал, «на бе-ерег отпустят».

Я на коленках, в руках грязная ветошь. Киваю:

– Сегодня же вечером и пойдём.

«Снова брешешь, – думает Минька. – А я-то, – думает, – развесил уши, дурак. Но обидно ж! Как хотелось бы в увольнение погулять – вон, Сицилия...»

Минька думает: «Теперь поздно. Что бы Его Высочество ни травил, после обеда на берег не выпускают...» – сплёвывает за борт.

«Цесаревич» стоит в круглой бухте. В семи-восьми кабельтовых к норд-норд-осту видны Сиракузы, сахарные дворцы. Прищурившись, Минька видит над берегом тёмную кромку: это могли быть деревья, аллея вдоль набережной – кабы линия не смотрелась настолько ровной...

Огонь выедает в перьях лакуны, каверны. Воспламеняясь, безвольные шелковистые волоски съёживаются, оплавливаются в чёрные капли. Я тоже скоро умру.

Какой контраст с Минькой, который выкурил половину вкусной чужой самокрутки и, жмурясь, подставляет лицо полуденному ветерку.

Для Миньки жизнь бесконечна. Она поднимается перед глазами – туда, где смыкаются небо и горизонт. Над горизонтом редуют и истончаются облака, набухает просвет, розовато-атласное озеро. К озеру у горизонта прямо от «Цесаревича», из-под Минькиных ног

¹ Plumas (исп.) – перья.

устремляется лента – ещё не солнечная дорожка, ещё не слепящая, а лоснящаяся неярким муаровым лоском. Дорогу пересекают, пятнают течения, и когда озеро на горизонте становится ярче, первыми разгораются эти ребристые поперечные полосы: отблески мельтешат и роятся, как под дождём; лоб и щёку ошутимее припекает; солнечные ступеньки тасуются, теребятся, и кажется, что над ними, искрясь, реет облако солнечной пыли. Белая птица летит над водой. Стремительные катера с высокими трубами развешивают обрывки дыма. Посередине трепещущей золотистой дороги чернеет рыбацкая лодка, в ней стоит человек, отчего лодочный силуэт делается похожим на якорь или на корону.

2

Пятясь, Дживан отступил от подъезда и запрокинул голову. Длинная пятиэтажка из силикатного кирпича, вся в копчёных потёках. В окне наверху передвинулось что-то белое. Стёкла отсвечивали, отражая бесцветное небо, Дживан не мог разглядеть: успела одеться? или завернулась в простыню?.. в полотенце? Наугад поднял руку – кажется, помахала в ответ. Ну и хватит с неё. С ними надо держать себя твёрдо. Дживан повернулся и, больше не оборачиваясь, пошёл через колдобины, стараясь не наступать в глину щёгольскими лакированными ботинками.

Если женщина смотрела Дживану вслед (а она, несомненно, смотрела), – то видела элегантно приталенное твидовое пальто, расправленные плечи, прямую спину человека, привыкшего побеждать. Главным правилом для Дживана было – держать спину прямо. Да и в целом – держать себя. Его ровесники обрюзгли и расплылись, а он сохранил фигуру двадцатилетнего юноши. И (здесь можно было мысленно подмигнуть) не только фигуру: всё тело сладко саднило и будто жужжало внутри, как остывающий двигатель.

Несмотря на бессонную ночь – две почти бессонные ночи! – Дживан отнюдь не чувствовал себя помятым: был, как всегда, чисто выбрит, надушен одеколоном, опрятно одет, причёсан. Ни намёка на лысину, лишь виски начинали сесть, это его только красило.

Дживан не любил головные уборы – шляпы, фуражки, береты, не говоря о бейсболках и кепках. Даже в мороз редко надевал перчатки. Избегал сумок, портфелей, часов – всего, что могло ограничивать, окружать, стеснять, привязывать: любил лёгкость. Изящную лёгкость. В одном кармане брюк – портмоне (не слишком, признаться, тугое). В другом – телефон, отключённый уже двое суток: и это сейчас был единственный груз, тянувший к земле. Дживан почти ощущал, как набрякли внутри телефона пропущенные звонки. Представлял себе, как нажмёт зелёную кнопку и с пиликаньем начнут выскакивать сообщения. Может, взять да и вышвырнуть телефон прямо вот в эту лужу – а жене сказать, потерял?..

Лужи, густые, оливково-бурые; канавы, вросшие в землю угрюмые пятиэтажки; ржавые гаражи, трубы с клочьями стекловаты, охвостья дыма над вяло курящейся свалкой, – объясните, как люди способны во всём этом существовать? За шестнадцать лет, что Дживан здесь прожил, не смог окончательно притерпеться: полгода потёмки, вода невкусная, пресная, воздух тоже невкусный...

А ну их, пускай живут как знают. Сейчас ничто не могло омрачить Дживанову размягчённость, убогость, благоговейность. Пахло солоноватым дымом: жгли листья. Дворы были пусты, только ветер болтал дырявые пластиковые бутылки с остатками птичьей крупы: четвёртый час дня – а у Дживана утро; все на работе, а он – свободен!

По утреннему мужскому обычаю, свободу можно было немного продлить. Для этого требовался, во-первых, хороший кофе – а во-вторых, *периодика*.

На витрине киоска среди зажигалок, заколок, наклеек, фломастеров и огородной рассады – бросилась в глаза выпуклая багровая с золотом надпись «*Принц крови*» – и на журнальной обложке парадный отретушированный портрет, забавно напоминавший самого Дживана: с таким же твёрдо очерченным подбородком, с такой же ранней породистой седью; разве что чуть постарше – лет, может быть, сорока пяти – сорока семи... Мундир в золотых орденах, в звёздах, лента через плечо, тяжёлая цепь с подковкой: кажется, это называлось «орден Золотого руна». Неюный принц явно уступал Дживану в аристократизме. Мундир не спасал: простовато, мужиковато смотрелся принц.

Нагнувшись к окошечку, Дживан в присущей ему церемонной, подчёркнуто учтивой манере осведомился, сколько стоит журнал. Сколько-сколько? *Вай ку*. С ума посходили.

Вообще, если вдуматься, нелепо смотрелся сорокапятилетний мужчина в роли наследного принца. Можно было представить, с каким трудом ему подыскивают символические занятия: какие-нибудь регаты, скачки, благотворительность... День за днём, год за годом, вот уже седина, а коронации всё нет и нет...

И главное: если точно следовать ритуалу, нужна была свежая газета – и только газета. Начинать утро, листая иллюстрированный журнал, – то же, что портить кофе фруктовым сиропом.

Вот, например, – «*Лампедуза: цунами беженцев*»... Или ещё злободневнее: «*Шок! Шок!! Шок!!! Пожар в сумасшедшем доме!!!!*» Фотография во всю первую полосу: обугленные, словно гофрированные, брёвна; спина пожарного в современной, хотя мешковатой, как будто не по размеру, экипировке. Спина выражала недоумение: «А чего тушить-то уже? Всё сгорело».

Дживана по некоторым причинам жгуче интересовал пожар в психбольнице. Руки чесались развернуть газету сейчас же, не отходя от киоска, но Дживан поборол искушение. Утро аристократа должно идти по порядку: вальяжно расположиться за столиком, не спеша развернуть... Где кафе?

У подъездов на лавках и на отдельных вынесенных из дома стульях восседали закутаные старухи: они казались Дживану неотличимыми друг от друга, будто одна и та же старуха с пустым дублёным лицом сидела и тут, и вон поодаль, только немного варьировался фасон чуней и цвет пуховика – тёмно-коричневый, тёмно-синий.

Ветер трепал бельё, натянутое между Т-образными ржавыми трубами; хлопал полуоторванный рубероид. Над дровяными сараями качались чайки. Дживан засунул руки в карманы, ускорил шаг.

Полы длинного твидового пальто завинчивались то влево, то вправо, мелькнула порванная подкладка. В Степанакерте или в Ереване немисливо было представить, чтобы взрослый женатый мужчина вышел из дому в дранье. У жены глаз, что ли, нету? Рук нету? За мужем не может следить? Позор!

Впрочем, сейчас, после двух бурных ночей, Дживан чувствовал себя мягким, великодушным, и даже в мыслях не хотел упрекать Джулию. Она не виновата. И он тоже не виноват. Просто жизнь так сложилась...

Да, жизнь так сложилась.

Первые детские воспоминания – необозримая каменная громада трёхэтажного дома с внутренним двором, с общим круговым балконом.

Лето, жара, вкусный запах горячей смолы, битума – *кира*, чёрные лопающиеся пузыри в чане, грохот: кирщики ломками откалывают прошлогодний асфальт и сбрасывают с крыши вниз. Лучший город в мире, прежний Баку, лучший двор в мире и лучшие в мире соседи. В любую квартиру, кроме квартиры дяди Валида, можно ворваться без предупреждения и без стука: наоборот, это такая игра – застать хозяев врасплох. Везде Дживанчику будут рады, напоят, накормят: тётя Нана – только что испечёнными пухлыми шор-гогалами; тётя Люся, жена дяди Исаака, – борщом; тётя Алмаз разрежет на блюде солёный помидор.

На глянцевиной лоснящейся шкуре – яркие капли, чуть мутноватые, меловые; крупинки соли; светлый блик от тарелки; в ложбинке влага, как сладкий пот. Разрезанный помидор искрится на солнце, в набухших озерцах сока – слепящие золотые протуберанцы. Мир так переполнен любовью, что можно нарочно помедлить, прежде чем погрузиться зубами, губами, щеками, носом в сочную остроту, яркость, солёность, сладость.

Двор, как и сотни других бакинских дворов, рассыпался: дядя Артур с тётей Яной уехали в Белоруссию, дядя Исаак с тётей Люсей – в Израиль, – но самым первым решение принял отец Дживана. Не успели они перебраться к родственникам в Карабах, как отцу, известному невропатологу, предложили работу в степанакертской больнице и в медучилище.

Когда случилось землетрясение в Спитаке, он полетел на вертолёте с медицинской бригадой – и не вернулся: были так называемые афтершоки, остаточные толчки. Тело не обнаружили, сообщили, что Грант Лусинян пропал без вести. Мама перенесла тяжелейший инсульт...

Это время в Армении называется «тёмные годы». Но для Дживана сквозь холод и темноту все-гда просвечивало золотое и алое. Конечно, присутствовал обыкновенный юношеский эгоизм, жизнелюбие, психологическая защита. Но ещё – твёрдая убеждённость в том, что он – избранный. Он получил обещание. К тому же теперь – сын героя.

Без репетиторов поступил в Ереванский мединститут. Отца многие помнили, в том числе декан. Когда все остальные зубрили до умопомрачения, накачивались кофе, на зачётах бледнели, потели, – Дживан приходил выспавшимся, с прямой спиной, отвечал уверенно и легко – и после краткого колебания преподаватель ставил в ведомость плюс.

Летом после второго курса, когда уже начались бомбёжки и объявили мобилизацию, Дживан хотел остаться в Степанакерте, а маму, наоборот, эвакуировать в Ереван – но мама категорически настояла, чтобы всё шло по-прежнему: за ней ухаживают родственники, Дживан поступил и должен доучиться, война никуда не денется, автомат – это тоже профессия, Дживан принесёт гораздо больше пользы врачом, а обстрелы – подумаешь, *хето инч*, мы с тётёй Асмик между бомбёжками «Санта-Барбару» смотрим...

Однажды, на четвёртом курсе, когда Дживан в своей комнате, обложившись учебниками, готовился к общей психопатологии, его вызвали к телефону. Примчался в Степанакерт, говорили, что успел чудом, что счёт идёт на часы. Прогноз не оправдался, весной мамино состояние постепенно стабилизировалось, частично вернулась речь. В это же время было подписано перемирие. Вместо полиэтиленовых пакетов в окна опять вставили стёкла. Дживан взял академический отпуск. Пришлось искать работу, работы не было.

И даже в таких обстоятельствах – Дживан держал спину прямо. Его гордость была не болезненной, не натужной: он точно знал, что впереди его ждёт золотое, невыразимое, уготованное ему одному.

Окружающие это чувствовали, особенно девушки: хорош собой, вернулся из Еревана, без пяти минут врач; хотя и не воевал, но тоже кое-что пережил – отец погиб, заботится о больной матери... Девушки так его видели, не мог же он им запретить. Правда, в провинции было гораздо сложнее развивать отношения, чем в столице: здесь, в Степанакерте, от ухажёра требовалась определённость.

Однажды Дживана представили тонкой красавице Джулии: она тоже училась в столице и приехала к дальним родственникам на каникулы. Вскоре Дживан и Джулия поженились. Все повторяли – какая красивая пара. Мама всю свадьбу проспала в своём кресле.

К тому времени относилось странное воспоминание, до сих пор не оставившее Дживана.

Это случилось буквально за несколько дней до маминой смерти. Уже много недель мама была в забытьи, иногда бормотала невнятное, по большей части дремала. Дживан сидел за столом рядом с креслом, в котором она спала: кажется, разбирал и сверял документы на дом. Что-то заставило его обернуться.

Мама смотрела на него внимательным, совершенно осмысленным и ясным взглядом. Встретившись с ним глазами, она после паузы очень тихо, но внятно проговорила:

– Вечинч...

– Что?

Никогда раньше мама так на него не смотрела – со снисходительной жалостью, даже немного брезгливой, немного презрительной, – так смотрят на человека, который сделал что-то постыдное, недостойное...

– Мама, что ты сказала?

– Вечинч...

Вечинч, «ничего-ничего». Мол, чего уж теперь... может, ещё как-нибудь образуется... Дживан был изумлён и, стыдно признаться, обижен – он, образованный, интеллигентный, талантливый, всеми любимый, меньше кого бы то ни было заслуживал презрительного снисхождения.

– Мама, о чём ты? Что ты говоришь?

Позже Дживан ломал голову: не относилась ли эта жалость к его недавней женитьбе? – нет, мама приняла Джулию благодушно... Или мама его упрекала за то, что он так и не успел повоевать? Но ведь она сама заклинала его памятью отца, чтобы сначала он получил специальность, она так гордилась, что сын тоже будет врачом... Может быть, мама в бреду перепутала его с кем-то другим?.. Но в память врзалась именно полная ясность, даже как будто провидческая, – ясность, презрение и печаль.

Последние скудные сбережения ушли на похороны. Дживану пришлось ещё крепче задуматься о деньгах. Вдруг дальние родственники предложили работу в России. Это выглядело настоящим подарком судьбы: обещание начинало сбываться...

Город Подволоцк оказался блёклым, понурым – и изнуриительно плоским. Всегда угрюмые люди, низкое небо, слякоть, глазу не за что зацепиться... кроме разве что покрышек? Автомобильные шины были вкопаны по всему городу, во дворах, на обочинах, из этих покрышек более или менее изобретательно были вырезаны, скажем, подсолнухи... Иногда даже лебеди... Смешно сказать, когда ветер принёс со стороны мясоперерабатывающего комбината запах палёной плоти – сам по себе отвратительнейший, – Дживан немного воспрял: точно так же время от времени пахло в Степанакерте, когда работала скотобойня. Да только в Степанакерте каждая улица или улочка то спускалась, то поднималась, круче или плавнее, или хоть изгибалась; за поворотом виднелись тощие, но прямые и гордые кипарисы; внизу – тутовые и абрикосовые сады; и главное – кругом плюшевые зелёные или бурые горы, у горизонта – с прожилками ледников...

А что живописного, что значительного было в Подволоцке? Разве что заброшенные корпуса аккумуляторного завода с провалами вместо окон... сомнительная романтика разрушения, вроде ржавой военной техники в Карабахе... Нет, красивого не было ничего. Вот, крышечки. Пластиковые пальмы, собранные из пустых зелёных бутылок. Оконные решётки – самое популярное украшение пятиэтажек. Кто побогаче, ставил сварные. Большинство довольствовалось так называемыми просечками: заказывали на заводе из металлического листа, так чтобы прорези образовывали узор. Дживану всегда приходили на ум эти просечки, когда родственники, изредка приезжавшие в гости из Питера, ругали местных «скобарями». Исторически уроженцы этой губернии назывались «скобские» или «скобари»... А в Карабахе не то что решётки – двери не закрывали, машины не запирали, на улице люди приветствовали друг друга, всегда было время остановиться, обняться, поговорить, позвать в гости...

Большим утешением для Дживана стала работа. Все, кто не имел отношения к медицине, были уверены, что медбрат – это практически то же самое, что санитар. Поначалу Дживан вдавался в подробные объяснения: санитар – это просто уборщик, чернорабочий, любой человек с улицы приходи, халат надевай – и уже санитар; а медицинский брат – слышите, ме-ди-цинский, профессионал, он всё делает: осмотр делает, все процедуры, уколы, лечение всё на нём... Что такое врач, знаете? Врач – это просто бумажка, диплом. Дживану год доучиться, год-полтора, – и тоже будет бумажка.

Потом на вопрос, кем работает, Дживан начал отвечать кратко: «врачом». Это была почти правда. Диагноз он ставил лучше иного врача: вот, например, работал у них один пожилой доктор (лет восемь назад окончательно ушёл на пенсию), ещё советской закалки, – всем подряд лепил «эсцеха́», шизофрению. Дживан лично спас двух мизераблей (он про себя называл больных «мизераблями»): у одного выявился реактивный психоз, а у другого и вовсе

органическая депрессия, банальная щитовидка... Всё благодаря Дживановой интуиции – ну и приобретённому опыту; что называется, «клиническому мышлению».

Да что говорить, отделение, по большому счёту, держалось на нём. Заведующая его ценила. Лишь однажды она совершила ошибку, когда на место ушедшей на пенсию старшей сестры назначила не Дживана, а Ирму Ивановну. Дживан сильно обиделся. Точнее, не так: его возмутила несправедливость. Он бесповоротно решил наконец закончить образование. В Подволоцке не было медицинского института, только училище, и в Пскове тоже – значит, пора было ехать из плоского городка в Питер или в Москву. К ближайшему лету Дживан при всём желании не успевал подготовиться, а вот к следующему – вполне. Получить российский диплом; там, глядишь, и учёную степень...

Прошёл год, другой. Пять лет. Десять...

Кто знает, если бы у них с Джулией родились дети... но детей не было. Джулия потемнела, стала какой-то остроугольной. Всё чаще он говорил ей, что идёт на ночное дежурство. «Ночное дежурство?» – саркастически переспрашивала жена. И больше ни слова, никаких пошлых сцен.

Лёгкость побед успокаивала Дживана, из раза в раз подтверждая, что он по-прежнему – избранный, что обещание – в силе: от новой жизни его отделяет тончайшая плёнка, зыбкая, как прозрачная капелька сока, внутри которой переливается помидорное зёрнышко... Дживан ждал сигнала, коротал время, позволял себе мелкие, ни к чему не обязывающие приключения.

За шестнадцать лет в Подволоцке, кажется, не осталось квартала, а кое-где даже двора, где Дживан не отметился бы. Даже здесь, на отшибе, в районе с невероятным названием ПВЗЦА (лет двадцать пять – тридцать назад здесь построили пятиэтажки и заселили рабочими Подволоцкого завода щелочных аккумуляторов), – даже в эти трущобы Дживан навещался регулярно. Перед общежитием медучилища получил травму, трещины в двух рёбрах, четвёртом и пятом, – но не в драке, как можно было подумать. (Вообще, у Дживана было чутьё: он мог за себя постоять, но не лез на рожон, умел вовремя растворяться, избегать конфликтов – работают же, например, фотографы в горячих точках, и ничего, возвращаются невредимыми.) Дело было зимой. Тропинка от медицинского общежития шла под уклон, молодёжь раскатала дорожку. Дживан разбежался, держа под руки двух неустойчивых практиканток, – ну и поскользнулся, упал, они на него, хохоча, – и в груди закололо. Сначала подумал, сердце. Несколько месяцев не мог вдохнуть полной грудью, потом заросло.

Давненько не выбирался в эти края... Помнится, где-то неподалёку имелось кафе, и даже, по виду, более или менее сносное: белые столики, синий навес...

Внутри они со студентками не заходили – зачем? После зимних каникул в общежитии – на любом этаже, в каждой комнате – было полно деревенских припасов, всё вкусное, натуральное. Да и весь этот райончик, ПВЗЦА, оставался полудеревней: куры, собаки, косой штакетник, кусты шиповника и жасмина, дровнички, палисаднички, покосившиеся избушки, уцелевшие между пятиэтажками. Осенью и весной непролазная грязь, в которую были втоптаны целлофановые пакеты и скомканные сигаретные пачки, обрывки холщовых мешков, обломки шифера, щепки, бутылочные осколки...

Как тайный агент, как Джеймс Бонд в идеально выглаженном костюме мог бы пробираться сквозь чумадые улочки какого-нибудь Марракеша, сохраняя при этом всегдашнюю невозмутимость, только в глазах кувыркались бы чёртики, – так и Дживан в глубине души чувствовал себя резидентом. Он был заброшен в ничтожнейший, мизерабельнейший городишко – разведчик не выбирает: он должен каждый день тщательно бриться, держать спину прямо – и ждать сигнала. Обещанное золотое должно было вот-вот открыться, осуществиться...

Правда, в последнее время Дживан стал замечать за собой нечто странное и даже, пожалуй, тревожное. Вот буквально несколько дней назад в минимаркете рядом с домом... Дживан ходил туда тысячу раз – и конечно, у него была скидочная карточка. И естественно, он эту карточку сто лет назад потерял. Дживан вообще терпеть не мог документы, для него было сущим наказанием заполнять любые бумажки, сразу портилось настроение. Карточку потерял, но в магазине все его знали в лицо и обслуживали со скидкой: прокатывали свои собственные карты, в общем, как-то справлялись. А тут – половина десятого вечера, никого не было, за кассой сидела новенькая, вполне смазливенькая продавщица. И вдруг эта мартышка упёрлась: нет карты – нет скидки, мол, правила. *А кац*, какие правила? При Дживане эту лавчонку построили, он ходил сюда десять лет, а она двух дней не ходила. Разумеется, дело было не в деньгах – какие там деньги, десять, двадцать рублей? – а дело в принципе: что важнее, в конце концов, человек или кусок пластика?! Дживан требовал немедленно связаться с директором – мартышка отказывалась звонить. По сути – Дживан, несомненно, был прав. Но по форме... Тот крик, те выражения, до которых он опустился (когда Дживан терял контроль над собой, из него до сих пор выскакивали бакинские дворовые словечки, преимущественно азербайджанские), – да, всё это выглядело недостойно, сейчас Дживан имел мужество признать...

Непонятно было, откуда, с какого чёрного дна поднималась в нём эта ярость? Дживан был здоров – для своих сорока в идеальной физической форме. Его успеху у женщин мог позавидовать Аллен Делон. Дживан был умён, остроумен, интеллигентен. Пользовался заслуженным уважением на работе. Работа, кстати, самая благородная, можно сказать, гуманнейшая из профессий. Пахал на двух ставках: медицинского брата палатного – и процедурного, дежурил почти через ночь и получал, между прочим, больше иного врача. Твидовое пальто, красиво седеющие виски... и всё же что-то как будто прокручивалось и проваливалось, и срывалось, и снова прокручивалось вхолостую.

В просвете между домами мелькнул синий навес. Вблизи обнаружилось, что поликарбонат выцвел и поцарапался, кое-где проломился. Столики были убраны из-под навеса, кроме двух с давно не мытыми, размокшими пепельницами – очевидно, клиенты выходили сюда курить.

Внутри кафе оказалось грязной пивной. Пахло рыбой, прокисшим пивом и какой-то добавочной гадостью антропоморфного свойства – не то от раковины в углу, не то от двух скобарей в кожаных кепках, с тёмными, красными лицами. Едва Дживан вошёл, скобари сразу же обернулись. Ох, как ему это осточертело. Лицо кавказской национальности. Плюс твидовое пальто. Плюс – примитивам особенно ненавистно – осанка. Самих скобарей неудержимо тянет обратно в пещерное состояние, к шимпанзе: сгорбиться, выпятить челюсть... В первые месяцы Дживан с готовностью шёл на конфликт, «шухарился», как говорили подростки в бакинских дворах, – потом понял, что бесполезно, имя им легион. Пока пиво лилось из крана, чувствовал на себе тяжёлые взгляды.

Держа спину как можно прямее, Дживан вышел на улицу, под навес, стараясь не расплескать из наполненного до краёв пластикового стакана.

Нда-с, джентльмены, в фантазиях всё было несколько иначе: акации, кофе с высокой пенкой... Склонившись, Дживан отхлебнул из стакана – и, как ни удивительно, от холодного водянистого пива стало немного теплее, а в голове – прозрачнее. Придержав шаткий столик, вытащил из кармана газету, расправил страницы.

Горящей теме было отведено полномера. Выходило, что каждые две недели случался пожар в очередной психлечебнице – в интернате или в больнице. Газетчики для наглядности выстроили таблицу – подробную, на разворот: даты, названия городов и посёлков, разные приводящие обстоятельства, число погибших. И, вероятно, с намерением оживить газетные

полосы, усеяли эту таблицу красно-рыжими огненными язычками, неуместно игривыми, словно из комикса или из букваря.

26 апреля – Московская область, пос. Раменский: «Новенький пациент ночью поджег диван...» Крупным шрифтом: погубло 38 больных.

1 мая – Тамбовская область, село Бурнак: «Ночью пациентка курила в постели...»

9 мая – Краснодарский край, пос. Нижневеденеевский: «Ночью один из пациентов курил, загорелись постельные принадлежности...»

17 мая – г. Энгельс Саратовской области: погубло 4.

11 июня – г. Ярославль: «загорелась проводка...»

15 июня – Смоленская область, деревня Дрюцк: был подробно описан «памятник архитектуры, деревянный усадебный дом конца XIX века. В этом доме располагался психоневрологический интернат... 22-хлетний мужчина признался в том, что поджег палату из-за конфликта с медперсоналом...»

18 июля – Красноярский край, город Ачинск.

25 июля – Омская область, пос. Хвойный.

И свежая новость, щедрая россыпь оранжевых язычков, Новгородская область, деревня Лука: «Ночью один из пациентов поджег кровать и себя...» Погубло 37 человек.

За пять месяцев набиралось девять пожаров. Дживан машинально подумал, что плюс один – и счёт будет красивый, круглый.

Столик был шаток и влажноват – газета подмокла. Переворачивая страницу, Дживан надорвал уголок.

На следующей полосе напечатали несколько чёрно-белых снимков, все низкого качества: пятна, разводы, мутные полосы, непонятные колокольчики или цилиндры... Повертев газетный лист так и эдак, Дживан сообразил, что параллельные тёмные полосы – это спинки пустых железных кроватей, кругом обломки, потолка нет, над стенами небо; загадочные колокольчики оказались фаянсовыми изоляторами, ярко-белыми на фоне обугленных стен... Дживан был уверен, что разбирается во всех искусствах, в том числе в фотографии: из напечатанных он одобрил один хорошо скомпонованный кадр, запечатлевший торчащие в зрителя доски. Всё разрушено, – говорил этот снимок, – обезображено, всё превратилось в мусор и щепки...

Такой же бессмысленной грудой были навалены редакционные материалы, справки и интервью. МЧСовец в каске и в галстук: «Плановая проверка Госпожнадзора... предписание руководителю... задымление... шкаф с бельем, что свидетельствует о поджоге... Условия, идеальные для горения... деревянное здание, построенное 150 лет назад...»

Местный житель: «Проснулся ночью... громко залаяла... В окно увидел, что горит корпус больницы. Побежали с соседом... вдвоем удалось выбить дверь... В конце длинного коридора лежал человек... потом балка обрушилась».

«Стены были отделаны пластиком?»

«Нет, никакого пластика не было, старый деревянный дом. Все обветшавшее, разом все полыхнуло...»

Начальник пожарных: «Пламя быстро распространилось... Когда прибыл первый расчет, огнем было охвачено... квадратных метров... выгорел полностью. Большинство пациентов лежачие... установленные на окнах решетки... вывели из горящего здания только двух пациентов. Остальные 37 пока числятся пропавшими без вести».

Ещё какой-то начальник: «Спасшиеся будут временно расселены... Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ. На селекторном совещании... соответствующие поручения правоохранительным органам, МЧС и врио губернатора».

Врио-мрио. Шмио.

На всех этих разворотах про «Шок-Пожар» Дживан не находил ответа на занимавший его вопрос: можно ли было что-то предугадать?

Выживший пациент вспоминал: «Мой сосед по палате неоднократно высказывался в адрес медперсонала, что устроит веселую жизнь...»

А как быть, если они каждый день обещают устроить весёлую жизнь? Как вычленишь из постоянного бреда этот звоночек, действительную угрозу?... – и не успел он подумать про угрозу, как снова почувствовал на себе взгляды. Двое в кожаных кепках перегораживали Дживану выход из-под навеса.

Ах, как сейчас пригодилась бы та ярость, которая несколько дней назад обуяла его в минимаркете. Дживан владел национальным искусством свирепо кричать («уничтожу! зарежу! все кости переломая!») и дико сверкать глазами – так что обычно противник сдавался и отступал. Но после двух бессонных ночей Дживан был размягчённым, разнеженным: его не хватило бы даже на убедительный крик.

Дживан решил защититься иначе: просто забыть про двух недоумков. Как будто их нет во вселенной. Чтобы полностью отгородиться от скобарей, Дживан вытащил-таки телефон и включил его. Одним нажатием кнопки закончил двухдневный отпуск – и от семьи, и от жизни вообще.

В точности как Дживан себе представлял, с гнусным пиликаньем, один за другим стали выскакивать неотвеченные звонки: три – с работы, четыре – с работы, пять... с мобильного телефона Тамары, начальницы. Семь... Девять пропущенных... всё.

Вай ку! Какой приятный сюрприз: Джулия не позвонила ни разу – а значит, и нет доказательства, что он гулял двое суток. Можно не врать, ничего хитроумного не сочинять – просто сказать, что две ночи был на дежурстве. Три ночи! Вот и газета кстати: в соседней области, у новгородцев, сгорело, теперь у нас что ни день, то проверка, пожарный надзор, МЧС... всё сходится, всё логично! Прямо подарок судьбы... Но почему такая куча звонков от Тамары, что произошло на работе?..

Увы. Страусиная тактика не подействовала. Буравя его глазами, скобари заворчали что-то вроде «ар-рч», «хач» или «махач»...

Ну что? Махач так махач? Лениво, расслабленно подойти – и внезапно ударить? Первым, резко, в глаз, в горло?..

Дживан разгладил газету, вздохнул – и решительно повернулся:

– Здесь ложное время.

Перевёл озабоченный взгляд с одного на другого – мгновенно отметил, что первый – немолодой, усталый и, кажется, неопасный; а вот второй помоложе, позлее. Сурово глядя на них, Дживан постучал ногтем по своему телефону и повторил ещё строже:

– Лож-но-е.

Скобари оторопели. Как иллюзионист, как престижджитатор проводит блестящей палочкой – тем же манером Дживан продемонстрировал им экран:

– Сбита настройка. Я врач. Я обязан в точное время – секунда в секунду – звонить в больницу. Дежурному.

И для внушительности добавил:

– В приёмный покой.

Давно было замечено, что даже у одноклеточных примитивов теплится суеверное уважение к медицине: болел кто-нибудь из родни, да и сам тоже не застрахован... Даже у самого тупорылого – что-то такое сидит в затылке, в подкорке...

– Скажите, сколько на ваших часах? – обратился Дживан к старшему скобарю.

– Какой? – вскинулся тот, что моложе. – Чё, мль?

Но старший послушно ответил:

– Полпятого.

– Точнее, будьте любезны, – властно и в то же время благожелательно сказал Дживан, будто бы разговаривая с пациентом. Голос у него был глубокий, с бархатными модуляциями.

– Шестнадцать часов... двадцать пять. Доктор, что ли?

«Допёрло», – Дживан величественно кивнул:

– Врач. Клинический ординатор.

– А пиво сосёшь, врач клинический!.. – попытался встрять молодой, но уже без прежней энергии.

– Врач – жи-вой че-ло-век.

Дживан отвернулся от скобарей, потыкал кнопки и поднял телефон к уху. Услышав голос заведующей, сразу же заговорил озабоченным тоном:

– Как поживают наши больные, Тамара Михайловна? Что стряслось?

– Дживанчик! Ну наконец. «Что стряслось!» Ты спросил бы лучше, чего не стряслось. Ночью Гася твой снова загиповал! Скорая приезжала...

– Скорая помощь приехала? – веско переспросил Дживан. И заметил боковым зрением, что скобари, потоптавшись, двинулись прочь.

– Да, да, да! – изумилась Тамара: Дживан говорил не своим голосом и не своими словами. – Ты где? Что с тобой?

– Пиво пью, – Дживан проводил взглядом два плохо выстриженных загривка. – В интересной компании...

– Пиво пьёшь, а нас опять поджигали!

– Исключительно в нерабочее вре... Поджигали?

– Прямо дверь мою подожгли! Ночью! Дверь в ка...

– Что сгорело?

– Да ничего не сгорело – но прямо дверь в кабинет!.. То есть вообще уже!..

– Кто поджигал?

– Да не знаю я! Ночью! Не знаю, что делать вообще!..

– Тамара Михайловна, не волнуйтесь...

– С проверками с этими, я уволюсь, честное слово!.. Ты нужен, Дживанчик!

– Уже бегу. Тамара Михайловна...

Дживан любил, когда ему задавали вопросы, – любил выдержать паузу, помолчать, помотать собеседника, – а сам, наоборот, терпеть не мог спрашивать, ставить себя в уязвимое положение... Но сейчас нужно было спросить:

– Тамара Михайловна, из дома мне не звонили?

Голос начальницы потеплел:

– Безобразник, опять за своё. Нет, Дживан Грантович, не звони-ли. Никому до тебя дела нет. Кроме некоторых товарищей по работе... – В кабинете заведующей затрещал городской телефон. – Так, это из ЦРБ. Дуй скорее! Целую!

Было такое бакинское слово *бардакхана* – свистопляска, сумятица. Внутри Дживана творилась самая настоящая бардакхана. Даже чуть подводило желудок от облегчения, унижения, радости, злобы...

Первое: против него нет улик. Оправдываться не надо. Алиби-балиби, би-ба-бо: «Ты мне почему не набрал?» – «Я на работе был двое суток, ты дома сидела. Ты не звонишь, а я почему должен?» – всё шито-крыто. При желании можно было даже обидеться.

Второе: не надо сейчас – из чужой постели – идти домой. На работу – и то как-то легче, чище...

А вот «целую», услышанное от Тамары, заставило его поморщиться. Сам виноват: спросил, не звонила ли Джулия, – и тем самым как будто вошёл с Тамарой в маленький заговор – конечно, она не замедлила подхватить... Бабы, би-ба-бо, бабы. «Целую»... Тьфу.

Тамара давным-давно положила на него глаз, время от времени подёргивала за ниточку: ну? ещё не созрел?.. Не далее как неделю назад звала попробовать «Васпуракан», якобы ей подарили какой-то особенный, из особенной бочки... Нет, так низко Дживан Лусинян не упадёт. С начальницей – никогда. Вечером с ней коньяк пьёшь, а назавтра она тобой помыкает? *Ёх-бир!* С кем угодно, но не с Тамарой. Нет, нет...

Поскальзываясь, но удерживаясь на ногах, Дживан спустился в овраг, перебрался через заброшенную заводскую узкоколейку и вскоре уже шагал по краю широкой, в мягких ухабах, дороги, мимо чёрных избушек, не то сгоревших, не то просто сгнивших от старости, мимо участков, заросших полынью, и мимо домиков позажиточней – со спутниковыми тарелками, с компостными кучами, баньками и теплицами; с неизбывными целлофановыми пакетами и клеёнками, развешанными на заборах; клеёнками, которыми были обиты входные двери, – и снова клеёнками, накрывавшими груды досок, жердей или хвороста, горбыля или огненных, ярко-оранжевых ольховых чурок.

Дживан с гордостью вспоминал, как провёл беседу со скобарями. С первой реплики, сразу же подчинил своей воле – железной воле. Мастерски. Виртуозно. Актёр. Аль Пачино. Ален Делон. А трюк с телефоном? Загипнотизировал, как матадор обводит быка... двух быков, туполобых. Точно как матадор: с достоинством, с грацией...

Но глубже радости, глубже досады и даже глубже гордости колыхалась злоба: пусть Дживан присуждал себе как психологу и матадору выигрыш по очкам, его кулаки, плечи и даже вдруг занывшие рёбра – всё тело желало только победы нокаутом, с разворота вкатить: кто хач, я хач? Получай! – мощно, с хрустом, – на! Хочешь ещё? Повторить? На ещё!..

Больница была уже близко. Чаше встречались приметы цивилизации: питьевая колонка, трубка газгольдера, фонарь – чёрный сосновый столб, прикрученный к бетонной чушке, на столбе объявления о покупке свинца, о продаже щебня или навоза, или веников оптом... Чернели похожие на муравейники кучи полусгоревших веток и листьев; некоторые ещё тлели...

Такое же жадное нетерпение овладевало Дживаном, когда он знакомился с новой женщиной. Сейчас ему хотелось как можно скорей оказаться в своём отделении – вернуться в свой мир, где он был хозяином, победителем, где его знали, ценили. Когда Тамару припекло – буквально, когда запахло жареным, – кому она оборвала телефон? «Дживанчик, ты нужен, Дживанчик, беги скорей!» – «Почему бы, Тамара Михайловна, вам не обратиться к старшей сестре? Кто у нас старшая или старший: Ирма Ивановна или я? А у меня, прошу извинения, выходной». Мог он так ответить? Имел полное право. Но вместо этого как метеор летел на работу. А почему? Потому что Тамара была права: Дживан справится. Он один разберётся. Никто не найдёт поджигателя – Дживан найдёт. Дело чести.

Больница, в которой Дживан работал семнадцатый год, размещалась на территории «Дома Пучкова» – одной из редких подволоцких усадеб, переживших двадцатый век. Господский дом был много раз перестроен, но сохранил деревянный фронтон и две крашенные колонны. Среди сосенок и старых полуоблетевших лип было сумрачно. Мизерабль мёл листву. Чужой, из третьего отделения. В отличие от обычной больницы, здесь пациенты жили годами, ненадолго выписывались домой, потом возвращались. Много было устроено не по инструкции, а по-домашнему. Вот, например, территорию было положено убирать до обеда, но этот больной (Дживан даже вспомнил фамилию: Матюшенков) любил мести листья, его это успокаивало, он никогда не пытался уйти с территории, со временем его начали выпускать одного, без присмотра.

Дживан взбежал по ступенькам и перед тем, как войти, вдохнул свежего воздуха про запас. Отпер собственным ключом дверь. Внутри было очень тепло, после улицы даже слишком тепло, в нос ударил знакомый запах. Такой запах, наверное, должен накапливаться за

ночь в какой-нибудь непроветриваемой казарме, где на нестиранных простынях спит много давно не мытых мужчин, – только здесь запах был куда крепче и включал сильную горько-сладкую примесь аптеки. У больницы была собственная котельная: в отделении круглый год стояла жара.

Отделение разделялось на две неравные части, которые по-корабельному назывались «отсеками». В левом, более просторном крыле находился «лечебный отсек»: палаты, вдоль палат коридор, в конце коридора санузел для пациентов, сушилка; дальше, в пристройке, – столовая и веранда.

В правом крыле, занятом «медицинским», «врачебным» или «служебным» отсеком, было немного свежее. Из-за плотно закрытой двери, разгораживавшей отсеки, доносился смутный бубнёж – и ленивые окрики тёти Шуры: «Ня трожь!.. Всё, ложись отдыхай... Кому сказала! зараза, уйдёшь по-хорошему или нет?.. В Колываново захотел?!..»

Было слышно, что санитарка ругается по привычке, без раздражения. Бормотание мизераблей тоже звучало тускло, безлично: можно было не торопиться, в отделении стоял штиль.

В сестринской комнатке, одновременно служившей и кухней, Дживан снял твидовое пальто, повесил на плечики в шкаф, изучил себя в зеркале на внутренней стороне дверцы, остался доволен осмотром; когда закрывал, тёмное отражение повернулось. Надел белый халат, вымыл руки.

Можно было приступить к следственным действиям.

Медицинский отсек начинался с прихожей. Вправо от входной двери шёл коридор. С внешней стороны коридора – два полузакрашенных белой краской окна, а с внутренней стороны – ряд комнаток с металлическими табличками: процедурная, комната старшей сестры, комната для свиданий, забитая всякой всячиной комнатка сестры-хозяйки. В конце коридор заворачивал, сразу же упираясь в тёмный аппендикс: там была дверь к заведующей. Дживан подумал, что для поджигателя создали все удобства: из коридора нельзя было увидеть, что делается в аппендиксе. Когда кабинет был закрыт, никому в голову не приходило туда заглядывать.

Вообще, мизераблям было запрещено находиться в служебном отсеке без сопровождения. Больных водили сюда на уколы; время от времени – на свидания с родственниками; несколько дней назад приезжала машина с бельём и матрасами, мизерабли складывали всё это в комнате сестры-хозяйки, за ними присматривал санитар. С учётом того, что мизерабли безостановочно доносили друг на дружку – как по реальным поводам, так и (чаще) по воображаемым, – выбраться ночью на половину медперсонала, да так, чтобы никто не заметил и не настучал, – это было бы крайне сложной задачей для пациента... если бы не одно обстоятельство.

Месяц тому назад в лечебном отсеке пришлось ремонтировать туалет и сушилку. Этот ремонт теперь вспоминался как страшный сон. Мизераблей пришлось перенаправить на медицинскую половину – надо же было им где-то отправлять надобности. В прихожей выставили дополнительный пост; рук, как водится, не хватало, к тому же именно в эти дни уволили одного старого санитаря за пьянство, замены не отыскалось (и не нашлось до сих пор), – а значит, оставшиеся были вынуждены брать дополнительные дежурства, да ещё бегать с поста на пост, из коридора в прихожую. И медсёстры, и санитары ходили усталые, огрызались... Когда ремонт отгремел, все выдохнули – но с тех пор, что ни день, отлавливали мизераблей в лечебном отсеке: за месяц они протоптали дорожку в чистый благоустроенный туалет медперсонала – и по-прежнему норовили туда проскользнуть.

Если бы поджигателя ночью застали в прихожей, он мог сделать вид, что отправился по привычному маршруту. А добежав до конца коридора и юркнув в аппендикс – даже если

по совпадению в этот самый момент в коридор вышел бы кто-то из медиков, – поджигатель мог переждать за углом, под дверью Тамариного кабинета.

Высокая, под потолок, трёхфилённая дверь сохранилась со времён настоящей усадьбы Пучкова. Даже выкрашенная в белый больничный цвет, она показывала, что не только в людях, но и в предметах может чувствоваться порода. Нижняя филёнка представляла собой как будто круглое озеро или лупу, обрамлённую сложным фигурным каскадом фасок и желобков. Верхняя, самая длинная, была разделена крестообразно, как окно в раме. На гладкой средней филёнке примерно в метре от пола виднелось пятно.

Дживан постучал. Ему никто не ответил. Дверь была заперта.

Дживан сел на корточки и посветил телефоном. Две... три подпалины. Нет, не в полном смысле «подпалины»: дверь не горела, только в одном месте краска немного вспухла – три тёмно-серых зализа, язычки сажи, один рядом с другим.

Теперь нужно было сравнить этот трезубец с теми следами, которые поджигатель оставил неделю назад.

Когда Дживан вошёл в лечебный отсек, за санитарским столом было пусто: тётя Шура, должно быть, вышла в столовую или в дальнюю третью палату. Напротив стола (этот пятючок со столом, стулом и раковиной солидно именовался «постом») – напротив поста находилась первая, или надзорная, палата: здесь лежали тяжёлые пациенты, требовавшие постоянного присмотра, а также новоприбывшие.

Над первой койкой у двери, слева, вздымался могучий холм, обтянутый тёмно-красным истёртым вельветом. Это был Гасин зад. Когда полгода назад Гасю привезли в отделение, не нашлось пижамных штанов по размеру: оставили Гасю в домашних.

Гася стоял – а может быть, полулежал – в своём фирменном положении: верхняя половина тела была распластана по кровати, лбом и толстой щекой Гася прижимался к подушке, при этом нижняя половина стояла на четвереньках, колени были подогнуты под огромный живот.

– Ты что опять натворил, Гася, а? – добродушно спросил Дживан, беря его за запястье. Слоноподобный Гася был почему-то Дживану симпатичен. Может, хрустальные голубые глаза, неожиданные на одутловатом лице, напоминали Дживану кого-нибудь из знакомых... из женщин?.. Рука у Гаси была безвольная, пульс очень редкий.

– Зачем пугаешь Тамару Михайловну?

Гася скользнул взглядом мимо Дживана.

– Зачем безобразничаешь? – повторил Дживан, слегка встряхивая Гасину руку.

Он знал, что ответа не будет: в диагнозе значился «эндогенный мутизм», Гася молчал больше десяти лет, – но Дживан всё равно разговаривал с ним, как разговаривают с младенцем или собакой.

Напротив Гаси, через проход, помещался Полковник. Затылок Полковника был тощий, жалкий. Отвернувшись к стене, Полковник сосредоточенно ковырял остатки обоев. Почти все обои уже были съедены, уцелели разрозненные островки.

Дживан протиснулся между близко стоящими койками к подоконнику. От копоти, появившейся здесь неделю назад, осталось только размытое пятнышко. Теперь Дживан пожалел: следовало бы сфотографировать... но кто мог знать, что диверсия повторится.

Неделю назад главные подозрения пали на Славика. Сейчас бритый налысо Славик сидел по-турецки, качался взад и вперёд. Левая рука была забинтована. Время от времени его подзуживали *голоса*, и он голой рукой высаживал очередное стекло. Как и многие мизерабли, Славик курил, но после ЧП с подоконником Дживан лично конфисковал у Славика спички.

На дальней койке спал новенький, не знакомый Дживану: видимо, привезли вчера или позавчера.

Койку, стоящую под окном, занимал слепой Виля.

– Здравствуйте, Дживан Грандович, – сказал Виля вполголоса, чувствуя, что Дживан уже рядом. Виля прекрасно ориентировался – и доносил на товарищей чаще, чем кто бы то ни было в отделении. Вопрос, мог ли Виля при всех своих незаурядных талантах ночью на ощупь добраться до кабинета...

– Кайзер Вильгельм! – торжественно провозгласил Дживан. – Легионы приветствуют кайзера!

Виля сдержанно улыбнулся. Всё же порой проглядывало в мизераблях что-то неординарное, даже во внешности – вдруг какая-нибудь выразительная черта: у Гаси прозрачные голубые глаза, а особенностью Вилиной физиономии были губы – ярко очерченные, прихотливо изогнутые.

– А я жду: обратите внимание на старика?..

– Что ты, Виля, какой старик, где старик? Ты красавец-мужчина...

– Красавец, скажете тоже, ха-ха...

– Виля, у меня к тебе дело на сто рублей. Ты здесь самый умный. Ответь мне, кто у вас баловался с подоконником?

Больной сразу же перестал улыбаться.

– Вы уже спрашивали, Дживан Грандович, – прошипел он. – Сказал: я не знаю. Я спал... Дживан Грандович! Переведите меня во вторую палату. Ну что я тут с дураками лежу? Даже не с кем общаться.

– Сейчас некуда переводить, нету мест, – пожал плечами Дживан. – Ты сам видишь: вон, весь коридор заставили.

Дживан сознательно сказал «видишь», чтобы сделать Виле приятное. Не помогло.

– Шамилову у вас нашлось место? Чем я хуже? У меня нету папы-миллионера?..

Дживан спокойно, настойчиво повторил:

– Виля, ты меня знаешь, я тебя знаю: ты человек образованный, у тебя хорошая голова.

Мне интересно твоё суждение: кто поджёт?

– Не дурак поджёт. Не из этой палаты.

– Почему ты так думаешь?

– А кому здесь? Полковнику?

– Ты, Виля, зря дедушку недооцениваешь. Полковник, он шустрый... Товарищ полковник карбамазепиновых войск? Слышите меня? Приём!

Дживан подтрунивал над безучастным Полковником так же рассеянно-механически, как недавно спрашивал Гасю про самочувствие и называл Вилю красавцем-мужиной. Кто-кто, а Дживан умел говорить с мизераблями. Умел пропускать ерунду мимо ушей, а нужное слышать – как будто внутри был включён точнейший, тончайший приборчик.

Например, соображение, вскользь высказанное Вилей, было не лишено смысла: неделю назад в поисках злоумышленника они с Тamarой и Ирмой Ивановной ограничились первой палатой и методом исключения выбрали Славика – а, собственно, на каком основании ограничились? В эту палату даже двери нет, всё открыто. Санитары ночью спят, пушками не разбудишь. Получается, Виля прав: с тем же успехом мог зайти кто-то извне...

– А может, всё-таки ты, Кайзер? Признайся, тебе скидка будет. Сразу в третью палату переведём.

– Приятно, что вы меня цените, Дживан Грандович, но...

– Ладно, ладно. Шучу.

На первый взгляд Вилины речи звучали вполне разумно; лишь на фразе «что мне с дураками лежать» Дживанова чуткая внутренняя стрелочка трепыхнулась.

Дживан понимал, что разумность обманчива. Виля был старожилом первого отделения. Да и большинство пациентов можно было считать старожилками: маленький городок, одни и те же больные, все знали друг друга по многу лет. Психические болезни, увы, оста-

вались практически неизлечимыми. Можно было добиться ремиссии и отправить больного домой. Но через несколько месяцев, через год, а иногда уже через пару недель – все возвращались. Во всяком случае, слепой Максим Вильяминов по кличке Виля – исключением не был. Кожа у него под подбородком была собрана в острые складки, словно торчало жабо: на пике очередного запоя он перерезал себе горло – всякий раз не до конца...

– Когда мама придет? – слышалось из коридора. – Завтра?.. Ну когда мама придет?..

– Я знаю все города... и посёлки Южной Америки: Акапулько, Лос-Анджелес... Тегусигальпа! Я гениальный географ-геодезист!..

3

У нас в дурдоме никогда не бывает темно: ночью включают плафоны, так называемый дежурный свет. До утра мы дрейфуем сквозь унизительно забелённую молочком полумглу... Но одна-единственная точка пламени – и сразу всё внешнее ухаёт в сказочную, драматичную черноту.

Когда я неделю назад поднёс к подоконнику зажигалку, на поверхности словно вылутился пузырёк. Подоконник горел – совсем капельку, но горел! Меня покачивало, пол гудел под ногами, как палуба корабля. Пахло деревом: ты заметила разницу? Когда дома горела краска, запах был химический, неприятный. А здесь сразу чувствовалось: горит живое! Живое.

Как ты думаешь, в чём секрет, почему огонь так притягателен? – даже крошечная капелька пламени, не больше икринки. Внутри этой икринки, как в зрачке подзорной трубы, разворачиваются упоительные приключения... Дай-ка вспомнить... Огонь, вода... Вода, огонь... И тра-та-та горит пожар, да?

Прекрасно, пожар – но не сейчас и не здесь, не эти драные тряпки, всегдашняя серость, мусорная, недостойная человека труха – а сквозь капельку, сквозь икринку, глазок подзорной трубы – на три тысячи километров отсюда, на век назад!

Любой пожар грозен, но самый нелепый и оттого, может быть, самый страшный – пожар на корабле. Некуда деться: внутри огонь, а вокруг сплошь вода.

Вода огонь не потушает,
И тра-та-та горит пожар...

Шли в Сицилию. На подходе к Августе в резервной яме самовоспламенился уголь.

По тревоге нас бросили в самое корабельное недро: в «машину» (в машинное отделение) – и в кочегарку. Матросики вниз по трапам не бегают, а съезжают, съёрзываются, как в детстве с ледяной горки в овраг: за поручни крепче ухватишься – и пошёл! Пятками все ступеньки пересчитаешь, ладони горят... И самое важное: едва съехал – толкайся вперёд, пока следующий не впечатал подошвами по затылку...

В машине все новенькие робели, и даже Минька, на что бесшабашный парень, робел: поршни ходят, трубы гудят, шестерни колошматятся, масло брызжет – механиков так и звали у нас, «маслопупы», брюхо всегда в чёрном масле. А в кочегарке сразу же глохнешь, и пекло – не продохнуть... Стало быть, прибежали в нижнюю палубу, видим: дым. Тушить начали – ещё гуще потёк. Жара, вонь, угар... Кто-то сразу сознание потерял...

Трапы забиты, толпимся, старшие унтера распихивают матросиков: кому повезёт – стоять с помпой, остальных – метать уголь; матрозня бестолковая, бросятся то туда, то сюда, то все сгрудятся стадом... Уж кажется, сколько было учений: пожарные, артиллерийские, минные, водяные, – а как до дела дошло, растерялись. Хлопаем, глушим шуровками этот уголь... Везде спёкшиеся комья шлака, осколки дымятся, ручьи текут, лужи чёрные, жирные...

Видишь Миньку? Смотри какой убедительный: небольшого росточка, но крепкий, весь сбитый, цельный, как литая свинчатка или твоя круглая зажигалочка, которая так хорошо ложится мне в руку; вижу его приплюснутый нос, круглые, будто всегда удивлённые глазки, редкие бровки... А ты его видишь? Или веришь мне на слово?..

А как ты думаешь, когда случился пожар – пожалел Минька, что оказался во флоте? Сдаётся мне, даже в такую минуту не пожалел. Впрочем, было не до раздумий. Его Высочество орудовал в самом жерле угольной ямы: подламывал лопатой корку, черпал дымящиеся

куски, сбрасывал на решётку, а Минька с остервенением дробил и мозжил этот уголь внизу – в смраде, в чаду...

Минька не видел моря до своих восемнадцати лет. Чаек видел над речкой Волочкой, а про море и не слыхал. Родился в зачуханной деревеньке... Что далеко ходить – вот в Колыванове и родился! Вместо пола в избёнке была утоптанная земля. Вместо печной трубы – дыра в потолке: разводили огонь – открывали дыру; истопив – затыкали тряпками. В голодный год жрали мякину. Когда отец умер, Миньку как лишний рот отправили в люди, в уездный Подволоцк. Местные до сих пор говорят «Козий брод», но слово «броцкие» никто не помнит, кроме каких-нибудь отъявленных краеведов. Так называли подволоцкую шпану. Минька водился с броцкими, броцкие нос ему и сломали.

Однажды по пьяной лавке Минькин хозяин, румын, выдававший себя за француза, месё Траян, подарил Миньке фуражку с кокардой и лакированным козырьком. В тот же вечер броцкие сбили с Миньки эту фуражку и растоптали. Минька был совсем не похож на меня: он умел драться насмерть. Носа было не жалко – а жалко было, что и дня не пошеголял козырной фуражкой...

К тому времени, как пришёл «красный конверт» (повестка), Минька успел много и тяжело поработать: на кожевенном заводе, в торфяниках. Добирался до Питера – грузил песок. Когда не шла баржа, часами смотрел на большую воду, на белые паруса лайб, двигавшихся от Синефлагской мели к Неве...

Новобранцев выстроили перед казармой, скомандовали: кто плавать умеет, два шага вперёд марш! Земляк, стоявший рядом, шагнул – и Минька, не думая, тоже вышел из строя. Плавать он отродясь не умел.

Минькин флот начался с портового судна. Мы с тобой сочли бы подобный дебют прозаичным. Но лапотник Минька, который в свои шесть лет пас овец, а в четырнадцать мял и скоблил вонючие шкуры на кожевенном заводе, – Минька чувствовал себя королём... Деталь: когда Минька впервые приехал домой в увольнение, односельчане внимательнее всего осматривали, щупали, выворачивали и почти пробовали на зуб – не ленточки с твёрдыми золотыми буквами, не форменку с отложным воротником-«гюйсом», даже не новые юфтевые сапоги, которые Минька демонстративно, прилюдно стащил, – а носки. В Колыванове никогда не видели носков.

Через год-другой-третий портовое судно списали по ветхости, Миньку отправили в школу для нижних чинов – и по окончании школы в звании квартирмейстера он был приписан к линейному кораблю «Цесаревич».

Здесь завершается беглая предыстория и накатывает сказочный гул: вибрирует палуба, под ногами у Миньки гудят исполинские паровые котлы.

Минька впервые увидел свой новый корабль с набережной, издалека. Отрядик шёл в ногу, Минька в последнем ряду. По мере того как «Цесаревич» приближался, надвигались два орудийных ствола, каждый толщиной с Миньку, и маячившая за ними гигантская носовая башня; нависали и проплывали над Минькиной головой днища вельботов и катеров, поднятых на шлюпбалки; вздымались трубы и многоступенчатые надстройки – у Миньки захватывало дыхание: ему казалось, что вся эта невероятная масса наваливается на него...

Прошли недели и месяцы, пока Минька начал сколько-нибудь ориентироваться внутри корабля, – и всё равно: что ни день открывались неведомые коридоры с уходящими в перспективу связками шлангов и труб, с задраенными дверями, с теряющейся вдаль чередой подвесных электрических ламп...

Возможно, дело было не только в размерах. Скажем, наше первое отделение – это всего лишь одноэтажный дом: но за дверью на медицинскую половину уже начинается холодок неизвестности; коридор во врачебном отсеке почти такой же таинственный и тревожный,

как для Миньки коридор нижней броневой палубы, а запертая санитарская и особенно процедурная таят опасность, словно патронные погреба...

Видишь, как я изучил эти морские дела? Похвали меня. Пока мы ещё были вместе, я много разного вычитал в интернете.

Например, могу рассказать тебе про линолеум. Здесь, в больнице, он рваный, и я хронически цепляюсь за эти прорехи подошвами, спотыкаюсь, – а тогдашний линолеум, варенный на льняном масле, сносу не знал и был тёплым на ощупь. Поначалу Минька стеснялся ступать на этот неведомый, но очевидно роскошный материал. Быт, окружавший Миньку в детстве и юности, был убогим, корявым, – а на флагманском корабле всё сверкало, всё было изысканно, превосходно, вплоть до решёток в палубе, под ногами, так называемых шпигатов, в которые сливалась («скачивалась») вода во время уборки. Штурвалы шлюпбалок, затворы шестидюймовок сияли, во всём была безупречная слаженность, регулярность, премудрость: «Заряжай!» – затвор отскакивал, так же легко и надёжно защёлкивался; грохало так, что, казалось, дымом всё застилалось внутри, в голове... «Развести пар!» – котлы начинали дышать. «Освещение боевое а-ат-крыть!» – прожектор Манжена вклинивался в темноту ослепительным конусом. «Команда в-а-а-а-фронт!» – горнист играл «под знамёна», и всё моментально сбегалось, рассортировывалось, составлялось в безукоризненно стройный порядок.

Ты понимаешь, в чём наша с Минькой противоположность? Он хомо вульгарис, он дюжинный человек, человек коллективный.

Я не только читал про старинную флотскую жизнь: я смотрел видео в интернете. Сто лет назад военные корабли представляли собой главную национальную гордость. Поэтому съёмов много, есть целый получасовой фильм «Балтийский флот». Знаешь, что было для меня неожиданным? Теснота. Корабль невероятных размеров – а матросы всё время трутся гуртом, на каждом шагу физически сталкиваются, теснятся... Я не выношу, когда ко мне близко подходит чужой человек. В очередь за лекарствами встаю последним – и всё-таки обязательно кто-нибудь опоздавший будет дышать на меня сзади, заденет меня... Так же было в бассейне. Меня изумляет, как окружающие не способны держать дистанцию, как они терпят чужие прикосновения, как они не противны друг другу.

А Минька в этой толпе, давке, сутолоке – как рыба в воде. В деревенской избе, конечно, все спали вповалку. Кучей ехали в Питер в товарном вагоне... И вот теперь – «Цесаревич». Порядок. Блеск. Чудо премудрости, гордость империи, принадлежащее в том числе и ему, Миньке Маврину, бывшему овцепасу. Тем более, он занимает здесь не последнее место. Он не матрос, не гальюнщик. Он квартирмейстер! С гордостью Минька закуривает у «ночника» (так назывался фитиль, постоянно горевший на полубаке), приваливается на палубе и восстанавливает в уме многоярусную корабельную иерархию.

Всё, что под ним, от минных люков до трюма, все кубрики, нижние палубы, все котлы, механизмы, – это матросы. Семьсот матросов на «Цесаревиче» – и все по рангу ниже, чем Минька. Внизу.

Всех унтер-офицеров выше себя по званию – кондукторов, боцманов, машинистов, механиков, квартирмейстеров первой статьи – Минька мысленно помещает в ближайшую орудийную башню: тяжеленная (каждый снаряд весит сорок пудов), широченная, неохватная – но приплюснутая: выше Миньки не больше чем в полтора раза. Кто знает, быть может, со временем Миньке удастся забраться на самый верх – дослужиться до кондуктора. (Выше никак, потому что Минька не дворянин.)

Орудийная башня находится справа от Миньки, а по левую руку – опоясанная надстройками фок-мачта. В Минькиной аллегории мачта символизирует офицерство. У подножия мачты приткнулись малярная и фонарная комнатки: это, скажем, мальчишки-гарде-

марины, а также единственный штатский, коллежский асессор Нурик, который руководит корабельным оркестром.

Над головой – не дотянешься – мичмана, лейтенанты: балкончик боевой рубки, лебёдки и лёгкие противоминные пушки. Выше – стойки для шкивов, смутно мерцающая колонна компаса, боевой марс – это уже штаб-офицеры, высокоблагородия. Мощнейший прожектор Манжена – командир корабля, капитан первого ранга Любимов.

И когда после прожектора темно в глазах – стенга, топ, невидимая вершина мачты – сам Государь...

Никто в Колыванове не поверил бы, что Минька Маврин, недавно бегавший с заскорузылыми пятками, видел Государя императора лично. Это случилось 24 сентября. Эскадру построили на Транзундском рейде, примерно в двенадцати милях к зюйд-весту от Выборга. Царский смотр был назначен на среду. Несколько дней на «Цесаревиче» стоял дым коромыслом: линкор был выдраен, выскоблен сверху донизу; плешины и борта «отжвачены» (перекрашены); стойки, кнехты, клюзы, люки, шпигаты отполированы...

Минька впервые за полгода на «Цесаревиче» позавидовал своему земляку Матюшенкову, которого маленький, вечно печальный, вечно шепчущий и кивающий Нурик взял в корабельный оркестр. Однажды ближе к полудню Минька, босой, в пропотевшей (не нашим кислым и горьким больничным, а трудовым сладко-солёным потом) рубахе, наскоро перекуривал у ночника – к нему подошёл Матюшенков, тоже красный и потный, с короткой дудкой в руке. Минька как-то удачно над ним подшутил, вроде, кто-то пуп себе рвёт, а кто в дудочку рвяёт, мол, кто жилы надрывает, а кто в дудочку играет, в этом духе. Матюшенков ему возразил, что это не труба, а «флюгель-горн». И, желая утвердить свою правоту (будто бы Минька мог понять разницу между трубой и этим...), музыкант облизнулся, пожевал – и взял в губы мундштук.

В первый момент звук флюгельгорна показался Миньке шершавым, словно чем-то присыпанным. Затем звук разбух и вырос, поднялся над палубой. Помимо воли Минька почувствовал, что он тоже растёт, ему тесно: лёгким тесно внутри груди, внутри рёбер, хочется вырваться вон – и за томящим, нездешним, широким, рассеянным звуком поплыть, заскользить, потянуться между тусклой водой и размытыми тающими облаками, к гранитному острову Вихрево́му и полуострову Киперорт, поднимаясь и растекаясь и заполняя пустое пространство до самого горизонта...

– Шабаш! Скобарям по местам! – прикрикнул на них старший боцман Ломоносов. Минька с замолкнувшим земляком перемигнулись: человек без понятия. Скобарями, скобскими звали псковских – в то время как подволоцкие, хотя формально и были причтены к Псковской губернии, никогда к себе это название не относили.

День смотра выдался светлый и ветреный. Побудку сыграли в пять тридцать. Когда становились на подъём флага и на молитву, палуба была ещё мокрая от росы. После завтрака «Цесаревич» и все корабли стоявшей на рейде эскадры расцвели флагами. Стало известно, что Государя ждут к десяти.

Команду заблаговременно выстроили вдоль борта. Матросы были наряжены в «первый срок» – праздничное, с иголочки, обмундирование. С окончанием беготни все чувствовали отупение, но лица были умыты; брюки, фланелевки, синие воротники выглажены; руки вытянуты по бокам; свежесбрившие подбородки высоко подняты, глаза пусты.

Пожалев, что не хватило места на шканцах, в строю с офицерами и старшими унтерами, Минька вскоре обнаружил выгоды своей позиции. На верхней палубе «Цесаревича» пушки были окружены спонсонами – балкончиками, нависавшими над водой. Полдюжины младших унтеров, в том числе Миньку, выстроили полукругом. Со спонсона Миньке как на ладони был виден коленчатый трап с медными столбиками, отполированными до зеркаль-

ного блеска, с девственно-чистым алым сукном на ступеньках. У Миньки, в отличие от меня, было острое зрение. Он видел, как перехлестнула волна через площадку трапа, как потемнело сукно. Пахло большой рекой: балтийская вода почти пресная. Забавно: почти за пять лет, проведённых во флоте, Минька ещё не знал на опыте, что у настоящей морской воды совсем другой запах и вкус, другая твёрдость.

«Фал-л-р-репных на-а-а-ве-арх!»

«Фалрепными» назывались матросы, встречающие начальство. В этот раз Минька впервые увидел, как на всех трёх площадках трапа – на нижней, средней и верхней – встали попарно шестеро офицеров в полной парадной форме, при кортиках.

Трепеща двумя длинными косицами императорского брейд-вымпела, катер быстро шёл между шеренгами разукрашенных флагов кораблей. Послышался рёв: когда катер проходил мимо корабля, гаркало многосотенное «ура», и не умолкало, продолжало гудеть, когда катер двигался дальше. Гремел крейсер «Рюрик» и крейсер «Олег». Рокотали огромные тёмные «Пётр Великий» и «Император Александр II». Пройдя между ними, катер уже подваливал к трапу.

«Сми-ир-р-р-на-а-а!»

Удивительная тишина наступила на «Цесаревиче». Никогда прежде Минька не слышал на корабле такой тишины. Внизу хлопали волны. Скрипнула чайка. Бряцали на ветру снасти. Миньке казалось, что он различает шипение скатывающейся с трапа пены...

Ударил салют, и оркестр грянул встречный марш. Нога Государя ступила на трап.

Врезалось почему-то: либо китель пошили не по размеру, либо ремень был туговат – но сзади складки на кителе Государя топорщились, выпирали не по-морскому. Вытянувшись в струну, выпятив исцарапанный подбородок и до последней физической возможности вывернув шею вправо, Минька глазел на свиту: за Государем следовал адмирал с круглой, коротко стриженной серебрившейся головой; потом длинный в шитом мундире, в монокле; другой адмирал с лентой через плечо, с аксельбантами и в тяжёлых, вспыхнувших золотом эполетах... Только в эту минуту Минька заметил, что вышло солнце. Это было естественно: солнце приветствовало Государя. Вода заиграла. Берёзы вдали, на острове Вихревом, стали жёлтыми, выпуклыми; потеплели прибрежные камни, и кожа открывшего рот молоденького комендора тоже слегка засветилась.

Здесь Минька понял, что его наблюдательная позиция имела непоправимый изъян: да, те секунды, которые Государь поднимался по трапу, Минька, молоденький комендор и ещё четверо унтеров могли любоваться процессией – зато теперь, когда эскорт уже находился на палубе, обзор загораживала орудийная башня. Минька приподнимался на цыпочки, даже подпрыгивал, опершись на комендора, пытался хоть что-нибудь разглядеть в узком просвете между башней и рундуками, через чужие плечи и бескозырки. Из-за спин и затылков донёсся отзвук: «...цы!»

По грянувшему отовсюду «Здра-а!» Минька понял, что только что слышал самого Государя («Здорово, молодцы»), и присоединился к общему крику: «...а-авия! ...а-аем! Ваше! Императорское! Величество!» Одновременно с «Боже, Царя храни» вся команда, перекрывая и «Рюрик», и «Пётр Великий», взревела «ура». Минька изо всех сил желал видеть – если не Государя, то тех, кто был ближе к нему; мельком взглянул вправо, на соседний балкончик-спонсон, – и вдруг встретился взглядом с матросом, которого прежде ни разу не замечал.

Ростом примерно с Миньку, то есть невысокий. На загорелом лице тёплый солнечный блик.

Этот матрос не кричал. Не поднимался на цыпочки. И – оскорбительно, невозможно! – вовсе не смотрел в сторону Государя. Никто кроме Миньки не обращал на это внимания:

пятеро или шестеро на соседнем балкончике в самозабвении надрывались, как и вся команда, все восемьсот человек... за исключением одного.

Невозможный матрос опирался на леер – на тонкий трос, ограждение своего спонсона, – и выглядел совершенно расслабленным, безмятежным. Немного прищурясь и, как показалось Миньке, с едва заметной улыбкой смотрел уже мимо Миньки, куда-то вверх. Продолжая вместе со всеми рычать «ур-р-р-ра-а», Минька повернул голову – но там, куда смотрел Невозможный матрос, ровным счётом ничего не было, кроме воды, плоских поросших деревьями островов, туманной каёмки над горизонтом, неяркого солнца.

Когда Минька осознал, что в эту трепетную минуту – в присутствии Государя императора – матрос посмел греться на солнце, подставлять лицо солнцу, – то так взъярился, что, не будь смотра, прямо здесь разнёс бы морду мерзавцу, откулемсил, перемозголотил.

Находясь внутри огненного пузырька, внутри сказки, которую нам плетут, нашёптывают и строчат язычки, Минька не видит того, что заметно извне: они с «Невозможным матросом» очень похожи. Их можно принять за братьев... ну, может быть, за двоюродных братьев: «Матрос» – безусловно, аристократ, а Минька дворянjacka. Миньку я почему-то вижу яснее: сломанный в детстве нос, бровки тоже как у боксёра – редкие, удивлённые; наглазья; стиснутые небольшие, но каменные кулаки, на безымянном пальце левой руки и на мизинце белые шрамы... Нет, вру: эти шрамы появились через два с половиной месяца после царского смотра.

Как следует из документов, смотр имел место в среду 24 сентября 1908 года. Назавтра три корабля («Цесаревич» в качестве флагмана, «Богатырь» и «Слава»), снявшись с рейда, отправились в заграничное плавание. Позже к ним присоединился «Адмирал Макаров». Два линкора и два крейсера составили так называемый «гардемаринский отряд»: маленькое соединение кораблей, на которых морскую практику проходили курсанты-гардемарины. Спустя две недели в английском Плимуте «Цесаревич» принял около девятисот тонн угля – именно эта погрузка чуть не стала фатальной.

Как ты помнишь, мне не довелось закончить среднюю школу – я не смогу объяснить, отчего слежавшийся уголь мог «самовоспламениться». Наверное, что-то связанное с окислением.

Уголь хранился в железных ящиках, бункерах, которые назывались «ямами»: каждая «яма» вмещала от сорока до пятидесяти с гаком тонн. Самовоспламенившийся уголь нельзя было заливать водой прямо в бункере, от этого огонь только сильнее разгорался. Матросам приходилось лезть внутрь раскалённого ящика, выбрасывать тлеющий уголь на металлическую решётку, чтобы другие матросы могли дробить этот уголь лопатами (по-морскому «шурóвками»). Образовавшийся шлак сыпали в мусорные рукава – то есть за борт. Всё это происходило в дыму, в клубах жирной пыли, в пекле; вдобавок, поднялся ветер, пошла волна – корабль стало качать... Когда дали отбой пожарной тревоги, Минька едва стоял на ногах. Чёрных от гари матросов и унтеров отправили в кочегарную баню.

На «Цесаревиче» было две бани для нижних чинов: общая, так называемая «строевая» (её открывали по пятницам и субботам), – и «кочегарная», постоянно топившаяся для тех, кто работал внизу. Кочегарная баня была поменьше. Минька приписан был к строевой, причём всегда ходил в первую очередь, с унтер-офицерами: матросы ждали, пока вымоются унтера. Но после пожара было не до субординации: банщики запускали всех вперемешку.

Кочегарный предбанник был низким, длинным. Сквозь туман смутно виднелись запотевшие стальные опоры-пиллерсы. Электрические лампочки размывались острыми звёздочками, лучами. Голоса гулко бухали, как внутри бочки. Из-за переборок доносился плеск, гвалт. Босые ноги шлёпали по натоптанным грязно-серым следам, корабль покачивало, побалтывало, вода выплёскивалась из шаек, по линолеуму извивались угольные ручейки, сливаясь друг с другом то так, то эдак.

Вдруг Минька увидел, что буквально в трёх шагах от него, прислонясь к пиллерсу, неторопливо подвязывает порты тот самый матрос, к которому Минька целый день мечтал подобраться. Вид матросского тела возмутил Миньку не меньше, чем давешнее невозможное безразличие к Государю.

У всех мужчин, которых Миньке случалось видеть без верхней одежды, были бурые шеи и заскорузлые руки с обломанными ногтями, кривые мосластые ноги, фурункулы и угри от машинного масла, пятна от угольной пыли, порезы, кровоподтёки... Невозможный матрос выглядел совершенно иначе. Его мокрые тёмные волосы были гладко причёсаны. И весь он, от пояса до подбородка, был шёлковым, чистым и складным. Ни с того ни с сего Миньке вспомнился лакированный козырёк, Минька почувствовал себя броцким: ему захотелось сломать это гладкое, чистое и чужеродное.

Не подозревая об опасности, Невозможный матрос натягивал сапоги. Он по-прежнему опирался на пиллерс, склонился: Минька увидел, что у матроса на шее туда-сюда болтается... гирилка? Круглая, вроде маятника напольных часов – часы, луковка? Но почему же на шее? Выпуклая... табакерка?.. «Ладонка! это ж... ладонка!» – плотоядно обрадовался Минька: появился законный повод придрататься. Матросам, конечно же, разрешалось носить нательные крестики – но не ладанки.

Пол качнуло, и круглая гирилка качнулась туда-сюда. Минька даже успел разглядеть, что на ладанке выдавлен крест. Вразвалочку – шаг-другой – Минька приблизился к наклонившемуся матросу – и вдруг сделал быстрый выпад, как будто хватал муху.

Однако ладонь осталась пуста, Минька почти потерял равновесие. Матрос непонятным образом успел выпрямиться – и стоял теперь перед пиллерсом, прижимая к груди свою ладанку, закрывая рукой.

– Снял сейчас же, – приказал Минька, ткнув пальцем.

Ещё одно беглое пояснение. На флоте (а уж тем более на образцовом флагманском корабле) действовала очень жёсткая субординация. Минька был старшим по званию. Он обращался к матросу. Матрос был обязан немедленно повиноваться.

Но вместо того, чтобы суетливо стащить с себя ладанку, этот младший по званию взглянул на Миньку – причём, как один персонаж русской классической литературы, взглянул не в глаза, а на лоб – и совершенно спокойно и твёрдо ответил:

– Это не ладанка, господин квартирмейстер.

– Няужто?! А что ж?

Когда Невозможный матрос стоял на соседнем балкончике, в пяти саженьях, Минька не мог разглядеть, улыбался тот – или просто слегка прищурился на солнце. Но и сейчас, видя его прямо перед собой, Минька не поручился бы, что в глазах матроса не промелькнула насмешливая улыбка, когда тот раздельно, отчётливо произнёс:

– Медальон.

– Н-на-ка те мядальён!

На Козьем броду Минька выучился у броцки́х удару левой под печень. Удар был короткий, но очень резкий и сильный, из-под плеча, безотказный.

И снова Минька не успел сообразить, как он смог промахнуться и со всей мочи вкрититься кулаком в стальной пиллерс: снизу вверх, и ещё с подворотом, и вскользь! Перед глазами посыпались чёрные точки, пошёл металлический звон на всю баню... Что-то закапало на линолеум, потекло струйкой, Минька увидел, что пиллерс забрызган кровью. Живот у него подвело. Все обступили Миньку, обмыли руку тёплой сулемой, забинтовали...

И без перерыва, немедленно – следующий эпизод.

Вслед за вестовым Минька идёт по ковровой дорожке. Миньке совестно за сапоги – стоптанные, недочищенные в складках, он старается ступать по краешку. Минька впервые в офицерском отсеке. Здесь всё в коврах, всё отделано красным деревом, над дверями таб-

лички: «Флагманъ», «Флагъ-капитанъ»... Из глубины коридора – пение. Женский голос. Слова непонятны. Звуки фортепиано. Смех.

– Обожди! – свысока бросает вестовой и, пригнувшись, юркает в кают-компанию. Дверь остаётся чуть приоткрытой.

Минька не смеет заглядывать в щёлку, но искоса, боковым зрением, видит: в кают-компании курят, сквозь дым что-то блестит, дрожат оранжевые языки в канделябре, поёт дама в невиданном, сплошь сверкающем платье (поёт не по-русски), при этом сама играет на пианино и то нагибается, то выпрямляется, а платье как будто перетекает волнами.

Все хлопают. Обступают её. Звенят рюмки.

– ...Какой язык, ах какой мелодичный язык! Верно сказал...

– Кто?..

– Карл Пятый! Карл Пятый: по-итальянски – с дамами...

– По-французски! С дамами – по-французски!..

– Неправда! С друзьями – по-французски, с врагами – по-немецки, и по-испански – с Богом!

– А по-русски с кем?

– С Ломоносовым!..

Смех.

– Между прочим, о Ломоносове, помните это: «Вода огонь не потушает...»

– Вильгельм Осипович, это не Ломоносов, а... сейчас вам скажу... Львов!

– Князь Львов?

– «Вода огонь не потушает, и третий день горит пожар...»

– Типун вам на язык, Вильгельм Осипович!

– На мелодичный язык!..

В кают-компании хохот. Горящие язычки пригибаются и трепещут. Кто-то невидимый затворяет дверь изнутри.

Эта дверь отличается от других корабельных дверей: во-первых, высокая, так что даже рослый офицер может войти, не пригибаясь и не снимая фуражки; во-вторых, у этой двери не четыре задвижки-клинкеты, а шесть, причём ручки клинкет не стальные, а медные или латунные – тоже надраенные, отсвечивают в полумраке.

Здесь очень тихо. Во всех помещениях корабля, где Минька бывал до сих пор, – в кубриках и на палубах, в коридорах, на трапах и в сходных шахтах, не говоря о машине и кочегарке, – нигде небывало так тихо. Внизу несколько раз подряд бьёт волна. Качает, качнуло ковровый пол, за дверью кают-компания зазвенели бутылки, зазвенел смех – и отчего-то качнулось и сжалось сердце...

Раскрылась дверь, вышел лейтенант Рыбкин-третий, радостный, с папироской в зубах, между пуговицами – сложенная газетка.

– Честь имею явиться! Квартирмейстер Маврин, ваш-бродь!..

– Хорошо, хорошо... – кивает Рыбкин и не по-уставному берёт Миньку под руку: – Отойдём... Маврин, у тебя в отделении новый матрос... – Смотрит прямо в глаза. – Ты хорошо его знаешь. Отдай ему эту газету. Понял? Отдай ему от меня.

– Слушаю-с, ваш бродь!

– Что с рукой у тебя?

– Не могу знать, ваш-бродь!

– Как же не можешь знать? Дрался?

– Някак нет-с, ваш бродь!

– Смотри, Маврин, – говорит лейтенант, стараясь выглядеть грозно (но Минька видит, что тому хочется поскорее вернуться в кают-компанию). – На каторгу хочешь?

– Някак нет-с, ваш бродь!

– Так смотри не дури. Газету отдай из рук в руки. Не потеряй.

Я не вижу тебя. Не чувствую твоей реакции. Мне трудно. Тебе всё понятно в моём рассказе? Я не спешу?

Моя подушка никак не желает вспыхивать целиком: огонь выел внутри наволочки очаг и тлеет, как уголь в угольной яме. Вокруг очага перья оплавилась и почернели, покрылись блестящей антрацитовый корочкой, но ещё тысячи остаются нетронутыми. Может быть, они влажные, слишком слежались? Может, нужно было встряхнуть, прежде чем поджигать?

Набираю в лёгкие воздуха, наклоняюсь и дую, пёрышки разлетаются, словно снег, штришки азбуки Морзе становятся ярче и умножаются. Сразу во многих местах выстреливают язычки.

Я спешу, потому что боюсь, как бы Дживан не выскочил и не набросился на меня снова: во второй раз я не устою. Пока огонь разгорается – помоги, удержи Дживана. Пожалуйста. Мне одному с ним не справиться...

Точно такую же пустоту и бессилие чувствует Минька, не понимая причины. Нарботавшись за день, матросы храпят, дышат с присвистом, стонут, бормочут... Мне очень легко представлять эти звуки, они такие же, как в больнице, только громче: в палатах у нас до десяти-двенадцати человек, а в каждом кубрике четверо, если не пятеро больше. Койки – брезентовые мешки, набитые толчёной пробкой. Матросы спят на полу. Следовательно, корабль сейчас на стоянке. (В открытом море койки подвешивают, как гамаки.) У Миньки привилегированное квартирмейстерское ложе – «рыбина», тиковая решётка поверх рундуков. Обычно Минька не успевает коснуться брезента щекой, как уже спит – но в этот раз он ворочается, томится. В кубрике жарко, забинтованная рука чешется, ноет, как её ни пристраивай...

Разрозненные картины всплывают опять и опять. Ожидание перед дверью кают-компании. Сама эта дверь, крестообразно перечёркнутая рёбрами жёсткости. Газета, которую офицер даёт Миньке для Невозможного... Офицер для простого матроса – газету?.. да на чужом языке? С какой стати?.. Что это за матрос? Отчего Минька раньше его не видел на корабле?..

Почему такой гладкий? Что за «медальон»?.. Матросов таких не бывает, они другие... Значит, он не матрос? Он переодетый в матроса... кто?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.